

ВИКТОР ФИНК



1

етом 1937 года в Мадриде собрался Второй Международный конгресс писателей в защиту мира.

Проездом в Испанию советская делегация задержалась на несколько дней в Париже. Все нахо-

дившиеся в этом городе участники конгресса были приглашены на прием к испанскому послу.

Посольство можно было бы назвать музеем испанского искусства. Полотна Мурильо, Сурбарана и Диего Веласкеса столкнули нас с величием испанского XVII века, едва мы переступили порог особняка. Старинная резная мебель, старинное оружие, рыцарские доспехи, самые разнообразные предметы из дерева, металла и слоновой кости наполняли строгий и молчаливый дом, стены

которого были обиты тисненой кордовской кожей. Гранды в латах, гранды в бархате, в брызжах и жабо, чопорные и суровые, глядели на нас со всех стен и провожали надменными взглядами.

— Это она! Это Испания! — сказал кто-то из нашей группы.

Толстой возразил:

— Это только старая Испания! Но верно, что ее-то лучше всего и знают.

Другой наш товарищ заметил, что современную Испанию неплохо описал Бласко Ибаньес.

Я тоже позволил себе высказать мнение.

— Бласко Ибаньес изобразил Испанию такой, какой ее изобразил Мурильо: как безумное смешение реализма и мистики, — сказал я и прибавил, что мы, несомненно, увидим в Испании много архаического.

Это было бы еще ничего, но у меня сорвались неосторожные слова о том, что у испанцев якобы два божества: тореадор и Христос.

Конечно, это было неверно. Это было в особенности неверно в 1937 году, когда испанский народ так яростно бился за свободу и независимость. Я понял ошибку и хотел поправиться, но Толстой мне не дал. Не успел я перевести дыхание, как раздался его неповторимый голос — чуть носовой, чуть надтреснутый, чуть флегматичный и немного иронический:

— Архаика? Тореадор? Христос? А кто короля свалил, не слышали? А про испанских коммунистов ничего до вас не доходило? А про Долорес Ибаррури тоже нет?.. Сам тореадор! — с убийственной иронией бросил мне Толстой после паузы и добавил: — И Христос в придачу.

Он подтолкнул меня к Вишневскому:

— Всеволод, объясни ты ему, бога ради, что старой Испании больше нет!

И прямо мне в лицо, как сообщают последнюю сенсационную новость:

— Ей нанесен смертельный удар. Могу сказать вам, когда именно: 25 октября 1917 года. На Неве.

Он прибавил подробность, которая, по-видимому, должна была придать правдивость всему сообщению:

— Вечером дело было.

Прошло три дня. Они были насыщены множеством

разнообразных впечатлений. Я думал, Толстой уже забыл случайный разговор в посольстве. Но он ничего не забыл. Он мне все припомнил, едва мы ступили на землю Испании.

Поезд доставил нас из Парижа через Тулузу в Перпиньян, в Сербер, на испанскую границу. Здесь французская граница кончалась. Из Испании пришел за нами поезд: несколько открытых вагончиков без стен, похожих на старую одесскую конку. Мы сели, поезд юркнул в туннель и выскочил в Испании, по ту сторону Пиренеев на станции Порт-Бу. На вокзале было пустынно, окна выбиты, поезда не приходили и не уходили. Где-то в конце перрона стоял одинокий парень в кепке и с винтовкой в руках. Все было похоже на наш восемнадцатый год.

Мы спустились в городок. Порт-Бу — это несколько улиц, большая площадь и зной. Позади скалистые Пиренеи, впереди Средиземное море, а наверху, там, где в других населенных пунктах бывает небо, в Порт-Бу неба нет, или оно так далеко и так прозрачно, что его не видно.

На площади, куда за нами должны были прийти автобусы, чтобы отвезти нас в Барселону, нас окружило все местное население. Я увидел человека, который торопливо прокладывал себе дорогу в толпе и спрашивал:

— Где здесь русские? Где русские?

Кто-то указал на нас, он подошел, подал руку и заговорил по-русски. Сразу было видно, что он иностранец. Ему было лет тридцать с небольшим, он был более чем скромно одет, жесткие, густые, черные волосы были стрижены ежиком. Дома, в Советском Союзе, я бы принял его за украинца председателя колхоза или за рабочего-металлиста из Днепропетровска. Он и оказался рабочим. Но не из Днепропетровска, а из каталонского городка Жерона, лежащего километрах в двадцати от Порт-Бу, по дороге на Барселону. Его фамилия Базельс. В Советском Союзе он никогда не был. Русский язык изучает дома: он выписал через «Международную книгу» учебники и всякие другие пособия. Русский язык ему необходим, потому что Ленина надо читать в оригинале. Очень помогают в изучении языка газеты. Он выписывает «Правду» и «Известия». Страшно интересно следить за советской жизнью. Удивительный мир! Теперь он читает по-русски свободно. Он даже занялся переводами. Пришлось — ни-

чего не поделаешь. Дело в том, что после провозглашения Республики его избрали народным судьей. Трудная задача! Ведь он не какой-нибудь образованный юрист! Он понятия не имеет, как судить людей, где искать для них справедливость. Но вот тут-то и пригодился русский язык! Через «Международную книгу» судья выписал советские кодексы — гражданский и уголовный, перевел их на свой родной каталонский язык и руководствуется ими при решении дел.

Он стал вытаскивать из портфеля аккуратные томики и раздавать нам. Это были наши кодексы, изданные в Барселоне.

— Вы вряд ли думали, что где-то в Каталонии, в древнем романском городе Жерона, рядом с собором, построенным в одиннадцатом веке, сидит судья, который судит свою каталонскую паству по советским законам?

Он сказал это на довольно плохом русском языке, посмотрел на нас веселыми и озорными глазами и рассмеялся.

Через несколько минут подали автобусы, судья сел с нами. В Жероне была остановка, и он водил нас по своему городу. К романской древности, к XI — XII векам, подбавили немного XX века, а жителей переодели в костюмы нашего времени, резко противоречащие стилю города. Все казалось непонятным, нереальным. Но этот Базельс со своими советскими кодексами на каталонском языке, он-то был несомненной реальностью, маленькой частицей той реальности, которая способна переделать мир.

Когда, расставшись с судьей, мы снова сели в автобусы, чтобы ехать дальше в Барселону, Алексей Николаевич молча обернулся в мою сторону и вскинул очки на лоб. Не для того, чтобы лучше меня разглядеть, а для того, чтобы я лучше видел веселых чертиков, которые сидели у него в глазах. Им до колена смешно было смотреть на меня, на человека, который не знает, какой удар был нанесен Испании пап и королей на Неве 25 октября 1917 года («Вечерком дело было»).

За Валенсией мы часто встречали руины. Они напоминали нам, что мы находимся в стране древней и прекрасной культуры, в стране со сложной, но великолепной историей.

Мы видели развалины триумфальной арки, воздвигну-

той около двух тысяч лет тому назад в честь победы Траяна, который родился на испанской земле. Мы видели древние виадуки, построенные задолго до нашей эры. Мы видели покинутые рыцарские замки, — в них бродила тень Сида Кампеадора.

Это была история Испании, ее далеко ушедшее прошлое.

Но тут же рядом лежал и ее сегодняшний день.

Он предстал перед нами в поэтическом образе оливковой рощи. Какие изумительные краски! Какая дивная свежесть!

Но почему деревья стоят огороженные, группками по две-три штуки? Почему огорожено серым камнем даже отдельное деревцо?

Потому что роща принадлежит помещику, а крестьяне арендуют отдельные деревья — два, три, нередко — одно дерево. Оно — источник пропитания целой семьи.

Когда сложились эти общественные взаимоотношения? Вероятно, тоже много веков назад. Живая жизнь казалась не менее архаичной, чем только что виденные руины.

Алексей Николаевич ехал в другой машине, и я мысленно отложил до встречи с ним разговор об испанской архаике. Мне хотелось отыгаться. В пути мои позиции усилились.

Вот как это было.

Нас остановил человек с ружьем. Он открыл дверцу автомобиля и спрашивает:

— Среди вас нет Хуана Родриго?

— Нет.

— Можете ехать.

Мы поехали. Нас остановили через полкилометра и опять спросили, нет ли среди нас Хуана Родриго. (Я привожу имя на память.) Мы ответили, что нет, нам сказали, что мы можем ехать дальше. Это повторялось через каждые полкилометра с нами и со всеми машинами нашего каравана. Наконец мы узнали, в чем дело.

Оказалось, что Хуан Родриго — крупный военный преступник. Он бежал из тюрьмы, власти отдали приказ о его задержании. Но это было такое непривычное дело для честных и простодушных испанских крестьян, служивших в народной армии! Они так не умели ловить диверсантов!

Военная охрана разыскивала беглеца так, как почтальон разыскивает адресат, чтобы вручить ему газету.

Я все думал — ну посмотрим, что Толстой теперь скажет! Теперь уж я его подразню.

Не пришлось.

Мы остановились в деревушке Манганилья. Это узелок кривых, горбатых и безлюдных улиц, камень и зной. В мэрии, — по-испански — аюнтамьенто, — было прохладно, и мы отдыхали от уличного зноя. Под окнами собралась ватага полуголых детишек, несколько молодых и старых женщин, одинаково одетых в черное, несколько высохших стариков в беретах. Это было все население. Остальные ушли на фронт.

Сначала все молча стояли и смотрели. Это было похоже на обыкновенное деревенское любопытство к горожанам, да еще к иностранцам и писателям. Внезапно слабый голосок затянул «Интернационал». Через минуту за окном пели все.

Мы выбежали на улицу.

Женщины, старики и дети стояли строгие, сосредоточенные, торжественные и пели. Это пели отцы, матери, жены, вдовы, дети и сироты нищих крестьян, которые арендуют одно дерево у помещика, которые не умеют разыскивать беглых преступников и которые ушли биться за свободу. Они пели гимн всемирного братства трудящихся и угнетенных.

Тут я понял, что из моей надежды как-нибудь покви- таться с Толстым ничего не выйдет, и лучше мне даже на глаза ему не показываться, ибо какое еще нужно доказательство того, что «Испании пап и королей нанесен смер- тельный удар» и что это произошло как раз «вечерком 25 октября 1917 года».

Но если мне удалось скрыться от Толстого в Манганилье, то уж в Мадриде выдался такой случай, что де- ваться было некуда.

Однажды вечером, после заседания конгресса, я по- шел побродить по городу, а вернувшись, никого из това- рищей не застал. Но меня ожидал незнакомый испанец... Он говорил только по-испански, я понимал плохо, но все же сообразил, что он приглашает меня куда-то с ним по- ехать. Я согласился. Всю дорогу мы молчали, я не знал, куда он меня везет. Город лежал в темноте, автомобиль

еле нащупывал дорогу бледно-синими фарами. Вдали, не слишком, впрочем, далеко, ревели пушки: шли бои за Брунете. Повеяло прохладой, и я догадался, что мы выехали за город. Потом под колесами заскрежетал гравий,— мы, по-видимому, въехали в какой-то двор или парк. Машина остановилась, мы вышли, испанец взял меня за руку и сквозь абсолютную темноту повел в дом.

Дом оказался необычный. В вестибюле, у подножия лестницы, шедшей наверх, стоял огромный манекен в латах и шлеме с опущенным забралом и с длиннейшим страусовым пером. В первой комнате, в которую меня ввели и которая оказалась столовой, в углу на постаменте стоял стальной шлем тоже с опущенным забралом и страусовым пером. К постаменту была прибита медная табличка. Она сообщала, что в XIV веке этот шлем принадлежал сладопелю Филиберто герцогу Савойскому. Чуть выше и влево, прямо под страусовым пером, к стене была прилеплена вырезка из «Правды» с изображением первомайского парада на Красной площади.

Обстановка была, повторяю, необычна, и, скажу прямо, я обрадовался и успокоился, когда из соседней комнаты донесся громкий хохот Толстого. Там, оказывается, сидели все наши делегаты. Я сразу узнал величественного вида женщину в черном, с глубокими скорбными глазами, которая принимала нас. Это была Долорес Ибаррури. Ее окружали руководители партии и несколько военных, пришедших с фронта.

Мы провели в этом доме всю ночь. Она прошла в простом и дружеском общении с испанскими товарищами.

Но мне все-таки хотелось знать, где же это именно мы находимся. Я спросил Вишневого. Всеволод, по привычке, повел плечами и сказал:

— Да на даче МК!

— Не понимаю! — признался я.

Тут мне досталось от Толстого.

— Деревня! — кричал он. — Серость! Лапоты! Не понимает, что МК значит Мадридский Комитет Коммунистической партии Испании!

Он забросил очки на лоб, взглянул на меня глазами, которые до краев были полны смеха, выдержал паузу и медленно процедил сквозь зубы:

— Тореадор!

Толстой был человек жизнерадостный, веселый, шумный, всегда острое словцо на языке, всегда, как говорится, хлебом не корми — дай посмеяться. Он был слишком богат талантом и тратил его щедро и беззаботно на шутки, на всяческие смешные выдумки и затеи.

В Испании мы увидели новые черты этого человека. Мы их увидели в самый день нашего прибытия в Мадрид.

Мы выехали из Валенсии утром и были в Мадриде во второй половине дня. Мы еще только размещались в гостинице, а уже из всех щелей радио понеслись потоки отборной брани. Это ругали нас, наш конгресс. Не все делегаты достаточно хорошо понимали по-испански, чтобы оценить красочность этого выступления. Но главное поняли все: микрофон, у которого подвизался невидимый оратор, стоял в расположении франкистских войск. О нашем прибытии неприятель узнал немедленно, ему даже сообщили отдельные имена.

Это сразу показало нам, что разведка у неприятеля неплохая и что она где-то тут, совсем рядом с нами.

Кое у кого стало портиться настроение.

Но вскоре приехали товарищи из Интернациональных бригад — испанцы, немцы, французы. Они приехали прямо с фронта. Фронт находился в конце трамвайной линии.

Вместе с гостями мы спустились в ресторан. На середину зала выкатили рояль, за него сел один из гостей и стал играть «Мамиту». Ее тогда играла и пела вся Испания.

Держался стойко наш Мадрид!
Мамита миа!
Он был бомбами разбит,
Но под бомбами смеялся,
Да, смеялся наш Мадрид!
Мамита миа!

Организовался импровизированный хор, все пели «Мамиту», всех охватило счастливое и чистое веселье, история с бранью по радио была забыта.

Внезапно раздался оглушительный свист, вой, рев и грохот: где-то поблизости упал снаряд.

Официанты испугались за посуду и стали поспешно убирать со столов. Нам предложили спуститься вниз.

Бомбоубежища гостиница не имела, дальше вестибюля идти было некуда. Военные товарищи поспешили к себе, на позиции, осталась публика штатская, к тому же с нами были старики и женщины. После минутной паузы стало очевидно, что оратор, недавно выступавший у микрофона, передал слово артиллеристам и они хотят разбомбить нашу гостиницу. Снаряды проносились свистя и воя и разрывались где-то в нашем квартале. Алексей Николаевич, к ужасу окружающих, открыл дверь и выглянул на улицу. Тут он заметил, что в соседнем доме, на чердаке, мелькает свет. Весь город был затемнен, только рядом с нами горел свет. Администрация гостиницы приняла меры, свет погасили. Однако нельзя было не сопоставить появление этой мигающей лампочки с обстрелом квартала. Неприятель не только знал, когда мы приехали, но знал и где мы остановились.

В вестибюле начали нервничать.

Один иностранный коллега, которого я не хочу называть, молодой человек лет тридцати четырех, производил отвратительное впечатление. Он перебегал от одной колонны к другой и все спрашивал, где он будет в большей безопасности. Потом он стал говорить, что его «затащили» в Испанию только в расчете на то, что он там будет убит, и тогда его отечество пошлет войска против Франко. Он был противен.

Однако уже многим стало трудно сдерживать нервы: страх заразителен. Успокоительные слова ни на кого не действовали. Надо было что-то сделать. Но что?

Вдруг раздался голос Толстого. Алексей Николаевич стоял в другом конце вестибюля и чуть шутливо сказал:

— Чего мы здесь не видели? Пойдем, что ли, на чистый воздух!

Чистого воздуха не было тогда во всем Мадриде, воздух был отравлен запахом гари. Но мы прекрасно поняли мысль Толстого и вышли на улицу, все советские, в том числе и обе женщины, бывшие с нами: жена Толстого Людмила Ильинична и детская писательница Агния Барто. Паникеры сразу онемели.

Однако, когда мы отошли шагов на тридцать, Всеволгод Вишневский шепнул мне:

— Не надо бы Толстому ходить. Далеко ли до беды? Ты бы сказал ему, право!

— А ты ему сам скажи! — ответил я. — Попробуй!

Вишневский не решился. Людмила Ильинична тоже не решилась. В эту минуту нельзя было обратиться к Толстому с благоразумным советом, касающимся его безопасности. Не до того тогда ему было.

Неприятельская разведка окружала нас невидимым, но плотным кольцом. Она знала каждый наш шаг, она слышала каждое наше слово. Она бы дорого заплатила за то, чтобы увидеть среди нас панику, растерянность, малодушие. Конгресс рисковал утратить свой престиж, не успев провести ни одного заседания.

Нельзя было, просто невозможно было в такую минуту говорить с Толстым о его личной безопасности.

Он вернулся в гостиницу, когда прекратилась бомбардировка.

3

У меня сохранилась старая мадридская фотография. Пять мальчиков лет тринадцати-четырнадцати сидят на улице прямо на мостовой. Один курит и улыбается, трое смотрят озорными глазами прямо в объектив, один отвернулся. Мальчики сидят, прислонившись к штабелям мешков с песком. Слева, за двухэтажным домом причудливой архитектуры, тогда начинались ходы сообщений и окопы. В окопах сидели отцы этих мальчиков. Мальчики приносили отцам поесть.

Каждый раз фотография напоминает мне, с каким недоумением смотрели они на довольно солидного сеньора, который остановился перед ними и что-то громко кричал на непонятном языке.

Этот сеньор был Толстой. Мальчики представляли молодое испанское поколение — то, судьба которого была первой ставкой в этой войне. Толстой приехал в Мадрид потому, что, по его мнению, мировая литература должна была защищать этих мальчиков, она должна была протестовать против фашизма на самом месте фашистского преступления. Для этого, казалось бы, собрался и наш конгресс. Но, увидев мальчиков, Алексей Николаевич с болью вспомнил — в который раз! — о тех зарубежных наших коллегах, которых на конгрессе очень ждали, но которые не приехали. Потому он и кричал: он их ругал.

Надеюсь, мне не надо прибавлять, что ругал он их не по-испански, а по-русски. Мальчики не понимали.

Конгресс и правда был немногочислен. Конечно, это всех огорчало. Но один делегат, кажется голландец, позволил себе не очень умную шутку. Он сказал, что все равно на нас ни в Испании, ни в Западной Европе никто внимания не обращает и никогда не обратит.

— Подумаешь! Писатели хотят остановить войну! — сказал он.

Толстой взорвался.

— Это что же это такое?! — воскликнул он по-русски. — Люди воюют со времен Каина, а он хотел бы, этот красавец, чтобы сразу все войны кончились?! Уж не потому ли, что писатели высказываются против?

Толстой знал французский язык, но не всегда решался говорить по-французски. Сейчас он тоже попросил меня переводить. Он объяснял иностранному коллеге, который, видимо, стал чувствовать себя довольно неважно от этих объяснений, что конгрессы, подобные нашему, не рассчитаны на немедленный эффект в виде прекращения войн.

— Нас могут не послушать и даже не услышать! Но слово наше должно быть сказано. Смотрите, как враги боятся его! Ведь большинство делегатов приехало тайком, нелегально, им паспортов не выдавали! Значит, боятся?!..

Он говорил долго и страстно, потом ему надоело. Он обратился ко мне и сказал по-русски:

— Объясните вы этому младенцу, ради бога, что бороться всегда надо! Самое гнусное — это не верить в свои силы и молчать.

После паузы он прибавил с горечью и досадой:

— Трещали бы сейчас в Испании кастаньеты, народу куда больше приехало бы! Но трещат пулеметы... В этом все дело...

Это горькое замечание было в достаточной степени обоснованно.

Весной 1936 года, когда Испанию избрали местом конгресса, она была страной заманчивого туризма. В 1937 году итальянские летчики забрасывали ее бомбами, ее топтали германские танки, полудикие наемники-мавры, грязные, лохматые и зловонные, поились по улицам ее

городов, крича: «Арриба, Эспанья!» («Восстань, Испания!»), и работали ножами во славу Франко и пророка.

Поездка на конгресс стала опасной. Трудно было отделаться от мысли, что именно это соображение удержало дома кое-кого из наших коллег. Толстой говорил об этих трусах иногда с непочтительным смехом, иногда с гневом и презрением, но неизменно сопровождая их именами сочными эпитетами, которые я здесь не могу повторить именно по причине их избыточной сочности.

4

Но еще большее отвращение внушал ему один известный французский писатель, хотя тот не только присутствовал на конгрессе, но даже добровольно вступил в армию Республики и состоял полковником авиации.

В тот год радиус славы Полковника почти равнялся длине солнечного луча.

Когда заседание конгресса происходило в Валенсии, он где-то задержался в дороге и запаздывал. Но впереди него крупной рысью бежала его слава. Трубя в трубы, она возвещала конным и пешим, что он идет, что он едет, что он приближается, что он задержался в Перпиньяне, что он скоро будет! Полковник скоро будет! Защитник Республики скоро будет! Покровитель Испании, оплот храбрости, родник надежды, твердыня великодушия скоро будет!

А Толстой, едва потратив на изучение его личности две минуты, негромко, но достаточно внятно сказал:

— По-моему, сукин сын!

Слышало всего несколько советских делегатов, дальше нашего круга это не пошло. Трудно себе представить, какое впечатление могли бы произвести эти слова в переводе на иностранные языки.

Надо описать обстановку.

Валенсия. Берег Средиземного моря. Ресторан-поплавок, море плещется прямо под ногами. Общественные организации дают завтрак в честь делегатов конгресса. Ораторы, фотографы, журналисты, нарядные городские дамы, масса глазющей публики.

Полковника не было. Его ждали. И вот он появляется,

высокий, худой, элегантный. Его узнают. Мгновенно прокатывается шепот:

— Вот он! Вот он!

Затем громкие и бурные аплодисменты.

Полковник все принимает со смущением, которое кажется искренним. Это еще больше распаляет энтузиазм, делегаты хлопают и кричат еще громче.

А Толстой смотрит на него, — сначала в лицо, потом в профиль, смотрит, как он стоит, как ходит, как раскланивается, как смущается. Толстой смотрит, молчит, застыв с вилкой в руке, и внезапно, как бы увидев все, что можно было увидеть значительного, такого, после чего больше смотреть не надо, он делает упомянутое выше замечание и возвращается к прерванной еде.

Признаюсь, этот опыт исследования произвел странное впечатление на членов нашей делегации. Как это так? Много ли буржуазных писателей вступило в Республиканскую армию?! Не следует ли уважать таких коллег? Конечно, вспоминали Байрона в Греции.

Но все убедительные возражения Толстой выслушивал равнодушно, они нисколько на него не действовали.

В Мадриде конгресс организовал митинг для населения. Собрались в большом кинотеатре. Говорил Полковник.

Мадрид был осажден, предместья изрыты окопами, в квартале Карабанчель Бахо шли рукопашные бои, кровь стекала в Мансанарес по городской канализации. Главное — каждому было очевидно плачевное неравенство сил. Жители Мадрида скупно берегли последние крохи надежды. Поэтому слова мужества, сочувствия, ободрения, которые они слышали из уст своих иностранных друзей и защитников, потрясали их. Во время речи Полковника они плакали.

А Толстой толкает меня локтем и негромко говорит:

— Ну?

— Что — ну? — спрашиваю я.

— Я говорил?

— Что? Что вы говорили?

— Что он позер.

И верно: с трибуны Полковник уже действительно производит впечатление позера. Мне уже и самому стало казаться, что вот он выдерживает долгие паузы, лицо от-

ражает тяжкие усилия, якобы направленные на добывание из мозгов разных глубоких мыслей, а мысли получились незначительные. Видимо, паузы были разучены дома перед зеркалом. Конечно, это было позерство.

— Но позвольте, позвольте, Алексей Николаевич, какой вы строгий! Неужели нельзя человеку иметь свои маленькие слабости?

— Человеку можно,— флегматично отвечает Толстой,— да ведь он не человек. Он — он сильная личность! Разве вы не видите?

— Не понимаю.

— Не понимаете, что такое сильная личность? Ломака, балаболка, адвокат Балалайкин! Таких остерегаться надо. Завтра продаст за полкопейки. Ничего святого, кроме самого себя!

Споры продолжались недолго, «сильная личность» раскрылась сама собой, она перестала быть спорной.

Вот как это произошло.

Полковник почему-то стал ходить мрачный, он дулся, фыркал, нервничал и, наконец, заявил, что уедет домой, во Францию, на конгрессе ему нечего делать.

Причина раскрылась. Она была в том, что центром внимания конгресса сделалась советская делегация. Иначе и быть не могло: вместе с нами в зал заседаний всегда входил престиж нашей страны. Прибавлю, что бесстрашный Михаил Кольцов и блестящий Илья Эренбург находились в Испании с самого начала событий и были там популярны. Всеволоду Вишневскому устраивались овации как автору фильма «Мы из Кронштадта», А. Фадееву — как автору «Разгрома»: оба эти произведения испанцы справедливо чтит как учебники мужества. Советский писатель Толстой был единственный писатель с мировым именем, который приехал обнажить голову перед страданиями и мужеством испанского народа. Прибавлю еще и то, что обе женщины, бывшие с нами,— Л. И. Толстая и А. Л. Барто,— ходили во все опасные места, сохраняя спокойное мужество советских женщин, выполняющих свой гражданский долг. Удивительно ли, что делегация привлекала к себе дружеское внимание конгресса? Но Полковника это не устраивало: он оказался заслонен. Не нужно ему никакого конгресса, если так! Он уедет домой.

Это было противно, но также и грустно.

Один из наших товарищей с недоумением сказал:

— Все-таки я не понимаю, почему он пошел в армию Республики, а не к Франко.

Толстой рассмеялся:

— Дурак он будет идти к Франко! Самое загаженное место на всем земном шаре! Ведь он ищет славы и сияния. Он хочет, чтобы им любовались, чтобы дамы говорили: «Ах, какой он душенька!» Для этого надо быть на виду, надо кувыркаться прямо перед прожектором. А все прожектора наведены на Республику. Значит, пришлось идти в армию республиканскую.

После небольшой паузы он прибавил:

— А ведь грустно все это, друзья дорогие! Сколько еще всякой шушеры свободно ходит на Западе в почтенных людях, в писателях, в героях, в моральных вождях!

Толстой не мог чувствовать иначе: он был слишком цельный, слишком правдивый человек и слишком большой гражданин.